

Оглавление

РАССКАЗЫ О САМОМ-САМОМ	7
Борьба с грамотностью в селе Жерновка.	9
Муха	11
Исполнившийся сон	13
Кино и жизнь	16
Отец якутов	19
Ноги.	22
Живая картина.	24
Последняя каша.	26
Старая дочь молодого отца	29
Собачьи уши.	32
Лес	34
Вечный вдовец.	37
Крест на новорождённом.	40
Неоконченный роман.	43
Ошибка судьбы	47
Друг — он и после смерти друг	50
Туннель	54
Любовь без первого взгляда.	57
Серебряное ведёрко	60
Смерть по расписанию	64
Кошкин дом	66
Царь-сом	69
Яблоки.	71
Телефонный звонок.	73
Верность мужу выше мужа	76

Книги из будущего	80
Когда камни знают больше человека	83
Грибы из сна	85
Таинственный юнга	87
Белка-любовница	91
Цыганская засуха	94
Сон о Втором пришествии	98
Сторож-привидение	100
Ночные удары	103
Дом покупает хозяина	105
Медведица	107
Души в суде	111
Украденное родство	114
Три мушкетёра	116
Сестрин гарем	122
Борода за полчаса	125
Покойный отец вразумляет детей	127
Тропическое привидение	130
Ожог от воспоминания	133
Сбывшееся пророчество	136
Знаки неба и письма	139
ЗАПИСКИ РЕЙНГАРТЕНА	143
Об авторе	220

**РАССКАЗЫ
О САМОМ-САМОМ**

БОРЬБА С ГРАМОТНОСТЬЮ В СЕЛЕ ЖЕРНОВКА

Самое-самое в моей жизни давно было, ещё до коллективизации.

Из-за того неграмотной осталась, из-за бабки Лукерьи. А вышло это так — пристал к нашей деревне инвалид, на Германской в руку ранило. Ну и пастушил, рыбку полавливал... А потом комбед решил его учителем сделать. Грамоту, мол, знает, мир видел — пусть детишек учит. Да не тут-то было: решили и нас учить — баб жерновских. А какой — у всех дети, коровы, овцы блеют... Но комбед лихой: в тюрьме сгною! Начали ходить: кто — с грудными, кого за подол держат. И мужиков тоже погнали — мука адова. Сидим, над бумагой потеем, а в душе — хозяйство. Лето, помню, жаркое было, огурцов много... Ну, стали бунтовать, не ходить в школу. Комбедчики аж разъярились: вам свет несут, а вы б..! А инвалиду что, ему жалованье платят. В общем, или хозяйство разваливай, или грамоте учись.

Ну, и бабка Лукерья, тогда ещё не бабка, по-своему решила. По-нашему, по-жерновскому, знала

кое-что. Ну, и идёт этот инвалид, в здоровой руке букварь держит. Вдруг чушка огромная — свинья пребольшая. И прямо на него — хрюкает, сопит, с ног сшибает. Инвалид бежать, а она как даст под зад. Какая там учёба — самому бы спастись. А хрюшка ещё ему, ещё — букварь и упал на землю. Только того свинке и нужно было: миг книжку разорвала. А потом хрюкнула победно — и тикать в деревню.

А мы сидим, ждём, что такое — не знаем. Наконец прибежал наш учитель, уезжаю, говорит. Как? Что? — ну, вас всех к лешему. У вас свиньи против меня.

Ну, разошлись, инвалид, действительно, уехал, комбеду тоже не до нас. Надумали церкву рушить, колокола, ограду в город везти, чтоб там для нас трактор сделали, новую жизнь приблизили. Батюшку отца Александра, как помню, верёвкой связали... Ну, это другая история, я про Лукерью кончу. Пятьдесят лет молчала, ни матери, ни мужу — никому. Может, и знали, может, и шептались, а поди докажи... Уж куда там, уж и церкви не стало, и школа травой заросла... Вот терпение какое... Лишь перед смертью, когда ослепла, сказала. Мол, я вас тогда спасла, я в чушку обернулась. Да благодарить-то некому, все дети учёные, по городам разъехались. А умирала тяжело: духа у колдунов много.

МУХА

Рассказ будет мой мал, как и главный герой моей истории. А дело было лет двадцать назад на одном аэродроме в Средней Азии. Стояла жара, была пятница, и мы штурмом брали дощатую кассу. Каждый орал о своих правах, протягивал удостоверение, и вот и я у заветного окошечка. Но что это? — резкая боль обожгла мне щеку, и я на миг забыл о билете. Укусила меня муха, я начал растирать щеку — толпа других командированных отодвинула меня от кассы и, о, счастливыцы.

— Проклятая муха, — выругался я и вновь устремился в самую давку.

Был я молод, надеялся на свои локти — и вот снова заветное окошко.

— Дзын! — на сей раз муха укусила меня прямо в глаз, и я чуть не взвыл от жгучей боли.

— Зараза, знает, что руки заняты.

Меня снова отёрли, и неужели мне здесь торчать до понедельника? Я ринулся вновь, но новый укус меня отрезвил. Остановись, одумайся, ведь муха кусает только тебя.

Не знаю почему, но я отошёл от толпы и с какой-то жалостью посмотрел на орущих. Поразили жёлтые лица, заострившиеся носы, кислый запах. Да это же толпа беснующихся мертвецов.

Я вышел на воздух, сел на выгоревшую траву, задумался. Ещё ничего не произошло, а мне было всё ясно. Ага, муха тоже вылетела со мной, и кто ты, моя спасительница?

А произошло то, о чём и предупреждала меня муха. Самолет оторвался от земли, опрокинулся на хвост — пламя, дым, шок оставшихся. Кричали все, кроме меня, — я один знал о наступившей беде. Знал я от мухи, но откуда знала она, почему выбрала только меня? — загадка. Тайна, самая-самая тайна моей жизни.

ИСПОЛНИВШИЙСЯ СОН

Однажды мы с женой решили устроить грандиозный пир. Стоял лютый мороз, на улицу выходить было неохота, и почему бы не повеселиться? Сделали салат из крабов, бутерброды с колбаской... Борщ украинский, мясо тушёное... Морс клюквенный, пироги, конфеты... Мне — коньячок армянский, жене — мускат крымский...

Налопались, и счастьем запахло. А что ещё нужно смертному человеку? Поесть, попить, и чтобы милая была рядом.

Сидим, друг другом любимся, и блаженство на душе. Всё есть, ничего не болит — победили мы мир. Пусть завтра понедельник, пусть завтра на мороз — сегодня мы хозяева. Обнял я жену, поцеловал и, действительно, счастье. А изнутри голосок:

— А вот и нет.

Отодвинулся я от жены, задумался. Это что ещё за голосок, откуда сомнения? Чего не хватает, чем не доволен? А голосок:

— А ты вспомни.

Стал я жизнь свою перебирать: детство босое, юность неустроенная. И как долго бедным был, и как с женщинами не везло... А голосок изнутри:

— Не то вспоминаешь. Сон вспомни.

И вот смотрю я на жену, на стол заставленный, и ведь видел я это. Давным-давно снилось мне это. Что всё одолею, найду любимую, пир устрою. И вот точно так буду сидеть и от блаженства млеть. А голосок изнутри:

— А вот и не всё вспомнил. С чем проснулся, вспомни.

Да, как же я забыл, главное упустил. Ведь кроме видения мне и голос был, с его напутствием жил. Мол, крепись, будет и у тебя праздник. А голосок изнутри:

— И опять не всё вспомнил. Самый конец припомни.

Ах, да, и сказал мне тогда голос на прощание: «Счастье — это когда с милой женушкой после сытного обеда спелый арбуз ешь».

Так вот откуда заноза в душе, вот откуда неполнота счастья. Хотя откуда арбуз в зимней России?

И тут звонок в дверь. Иду, и смех разбирает.

— Арбуз принесли?

— Да, вчера какие-то кавказцы вам передать просили.

Закрыл я дверь за соседом — и снова пир. Друг другу куски арбуза в рот засовываем и целоваться не забываем. Совсем сон исполнился, а голосок изнутри:

— А вот и не совсем.

Сейчас-то чего не хватает, ведь всё вспомнил.

— А вот и не все.

Потянулся я жену обнять и вспомнил наконец. «Счастье — это когда с милой женушкой после сытного обеда арбуз ешь. А потом любишь её и сына зачинаешь».

Так всё и случилось, как во сне видел да слышал. Вот что бывает, вот что самое-самое в моей жизни.

КИНО И ЖИЗНЬ

Я — киноманка и могу с абсолютной уверенностью сказать, что в 1950–1970 годах не было ни одного фильма, которого я бы не посмотрела. О, поверьте, это тяжёлая работа, из-за кино я поссорилась с матерью, потеряла мужа, осталась без детей. Ах, целлулоидные грезы, ха, сказки для взрослых — вы и были моей настоящей жизнью. По крайней мере в темноте кинозалов я проревела, если и не большую, то лучшую часть жизни. Увы, всё это в прошлом — начиная с 1980 годов мир проснулся от киноснов, и они стали уделом подростков. Впрочем, себя я не осуждаю: время сильней человека, выпавших из времени сжигают на кострах.

А теперь парадокс: познав столько былей и небылиц с экрана, всё же самое-самое я увидела в жизни. Правда, опять же в кинотеатре, хотя где я ещё бывала, ненасытная кинонаркоманка?

...Девушка эта меня возмутила сразу — так бесцеремонно ходила она во время сеанса. Она что-то просила у сидящих в темноте женщин. И почему её терпят?

На следующий день в том же самом кинотеатре я увидела её вновь — те же хождения, те же просьбы — почему её не выведут из зала?

На третий день эту девушку я ждала — она снова внезапно возникла в темноте, и что же в конце концов она просит? Я прислушалась.

— Извините, ради Бога, вы не пройдёте со мной в туалет? Ну, пожалуйста...

Девушка просила не меня — соседку, но в отличие от соседки я её видела в третий раз, и это придало мне злости.

— Вы надоели своими ежедневными хождениями. Вы мешаете смотреть, я вызову милицию.

Девушка поникла, но вот оживилась снова.

— Извините, вы видели меня и вчера? Ну, тогда, пожалуйста, ради Бога, пройдите со мной.

Лучше бы я ей отказала, но что-то в голосе... какая-то боль... И я с ней пошла — единственная дура из десятков, сотен зрительниц, слышавших её просьбу.

В светлом фойе девушка поникла снова, и что она хочет мне показать?

— Извините, сейчас увидите. Умоляю, не бросайте меня.

Она вошла в туалет, хлопнула дверь, закрылась изнутри на задвижку. Это было уже нахальством — я дёрнула ручку — тишина.

Не знаю почему, я вызвала служительницу, показала на закрытую кабинку.

— Что вы, гражданка, эта кабинка уже неделю не работает.

— Но только что туда вошла девушка.

— Не рассказывайте сказки — кабинку закрыл сантехник.

— Но я сама видела... Взломайте.

Что говорить, конечно, все киноужасы — пластмассовые миражи перед реальностью жизни. В кабинке на трубе висела «моя» девушка с синим от времени языком. Судя по виду и запаху, смерть наступила неделю назад.

ОТЕЦ ЯКУТОВ

Самое-самое в моей жизни — отец мой. О, отец мой был большим шаманом. Не просто шаманом — великим шаманом. На бубне мог камлать, хвостом конским. А то и ветвью берёзовой, рукой голой. Бесплатно лечил, за миску простокваши от смерти спасал. Хо, отец мой был великий человек, большой друг людей. И не только людей, язык трав-зверей понимал, дождь-ветер предсказывал. Хо, не только предсказывал, вызывать мог, оседлать мог. Чистое небо — облака призывал, первые капли дождя заманивал. А пыль прибили — опять разгонял, грому уйти приказывал. Нельзя иначе, нельзя праздник дождём останавливать, надо только силу явить. Вот каким был мой отец шаманом. А то в вольную птицу вселялся, в зайца быстрого — вот каким был мой отец шаманом.

Только не вечно солнце светит, не вечно лето стоит, зашло наше счастье. И олени пропали, и рыбу выловили, и женщины наши рожать перестали. А мужчины трусами стали, разленились, один спирт кругом. Один русский начальник кругом, один ваш

закон везде. Лишним стал мой народ, и отец мой стал ненужным. Закатилось наше солнце, в пустых лесах лишь мотор гремит. Запах едкий кругом, деньги кругом, совсем уменья отцов ни к чему стало. Запил мой отец, в юрте у камелька только дремал. День спит, ночь спит, осень спит, весну спит. Хо, какие настали времена — весну спали, вот как плохо стало. Только ваш начальник ненасытен, мало ему всего — отца к себе привезти велел. Поехали милиционеры, нашли отца, пьяного в лодку бросили. Кинули, как куль, с другими рядом положили, на следующий день на допрос повели. Не знал по-вашему мой отец, сердцем догадался. А когда понял — смеяться начал. Били его, ломали его, а смех не могли остановить. Да и виданное дело семени землю победить, человеку траву-зверей искоренить?

Хо, отец мой был великий человек, за ним и леса, и горы, и солнце стояли — за вами ружьё да печать на бумаге. Вот и смеялся отец: разве можно все травы выдернуть, всех птиц-зверей убить, луну-солнце в клеть посадить? Никогда он не был рабом, никогда не будет, его победить — леса из железа сделать, землю — бензином залить. Он — хозяин: захочет — уйдёт, захочет — здесь останется, его дух лишь с землёй кончится. Так смеялся мой отец, и всё били его. А потом он камлать начал, а потом танцевать начал, кровь со смехом смешивать.

Хо, извивался и изгибался мой отец, ложился и вскакивал. И пел при этом, и кричал при этом, и смеялся по-прежнему. И эхом раздавались крики его, и шли из тюрьмы на воздух вольный, и слушали его. И внимали ему травы в лугах, и деревья в лесах, и звери, и реки, и облака, и солнце яркое. И всё

вторило отцу, и смеялось над паспортами вашими. И в положенный срок смерть предрекало. Только всего этого не видели милиционеры, лишь безумца, человека избитого замечали. А потом и они увидели, а потом и они поняли. А отец мой медведем смеялся, и волком, и зайцем быстрым. А потом берёзой зашелестел, ручьём по камушкам звонким. И уже кукушкой вольной, ястребом летучим. Взмыл мой отец — как ловить его? как ударить? — из нагана разве?

Хо, тут пальба великая началась, весь тюремный двор от грохота затрясся. А громче всех хохот с небес, дождь-гроза проливные. А потом снова небо голубое, солнышко улыбающееся. С травой и зверьми, с дождём и ветром ушёл мой отец. Хо, как снег весенний, как туман утренний растворился во всём. Не узнали милиционеры имени его, над телом не надругались. Не победили отца моего, да и виданное ли дело — мир победить? Улетел мой отец, свободу выбрал мой отец, но не умер он. Он — во всём, мир слышит его, мир чувствует его, мир догадывается о нём. Он — тут, он — здесь, он в шелесте листвы и птичьем посвисте, журчании ручья и дыме от костра. Он терпелив, мой отец, он мудр, мой отец, он знает всё.

Хо, ему ведомы восходы и заходы людские, не чело­веков — народов целых. Хо, мой отец долгоживуч, хо, мой отец вечен. Вместе с травой слабой прикроет он камни ваши, вместе с дождём смое­т ржу железа вашего. И когда опять кругом будет зелено, и когда опять кругом будет счастливо, явится он. Он придёт и тогда в облике человека, и будет он другом всему, и всё засмеётся отцу своему.

НОГИ

Мы с мужем ещё до свадьбы во мнениях разошлись: я считала, что главное в женщине — волосы, а он — ноги. То есть я говорила, что волосы всё прикроют, а он — ноги куда угодно вознесут. Так и повелось: я волосы лелеяла, а он ноги мои. Стыдно говорить, но пятки парил, ногти подстригал. А уж целовал, целовал — аж до щекотки. Прижмётся щекой к коленям и млеет:

— Мои, мои ножки, никому не отдам.

И вот ради меня, а можно сказать и едче — ради моих ног на Север уехал. Через год, мол, вернусь, большие деньги привезу. Тогда и квартиру купим, и машину с гаражом. А мне двадцать с хвостиком, детей ещё не было...

Ну, и как водится: сначала письма часто, потом реже, затем вообще — в больницу попал. Надорвался, простыл, пальцем пошевелить не может. Мне бы, дура, приехать, а какое — роман завела. И не гульнуть решила — снова замуж выйти. Я — маляр, а он инженер из треста — разница солидная. Лицо узкое, интеллигентное, всегда при галстукe. Улыбчивый, одной рукой машину водил...

Договорились пойти в театр — я к зеркалу скорей. Такой пучок накрутила — самой любо. Костюмчик лучший надела, туфли — вдруг в ногу что-то

вступило. Туда, сюда — не могу идти. Следующее воскресенье опять: на работе козой прыгаю, как на свидание — ступить не могу.

Бросил меня инженер, поревела с месяц — про-раб приглашает. Уж я чувствую, чем дело кончится — точно! На стройке с лестницы не слезаю, на свидание по асфальту идти не могу. Отказывают ноги — и всё.

С каменщиком одним сошлась — хороший парень. Плечистый, уступчивый — верёвки можно вить. А не идут ноги — и всё.

Рассказала на работе — говорят, на нервной почве. То есть почти прямым текстом говорят: гулять не надо. Так что ж, и дальше сохнуть? Ведь столько мужчин красивых, ведь столько предложений манящих... А ноги своё: с работы — домой, налево — ни шагу. Хранят верность мужу — и всё, будто и не мои.

Через полтора года муж вернулся — страшный, больной, без копейки. Я в слезы — не от радости, от горя — какому уроду верность хранила. Как вспомню улыбку инженера, плечи каменщика — реву как сумасшедшая. Хотела разводиться, да вдруг сама слегла. Уж муж ухаживать начал, спину растирать. А потом и он выправился, а затем и я выздоровела. Любовь вернулась, детей родили, богатыми, правда, не стали. Лет через пятнадцать рассказала всё, посмеялся.

— Мои, мои ножки, даже тебе не отдам.

Так что ноги не только волос поважней — самого человека. Заведут и выведут, подкосят и вознесут. Уж я своих ног бояться стала, будто и впрямь не мои. Вот что бывает, вот что пережила, самое-самое в моей жизни.

ЖИВАЯ КАРТИНА

В 1970 годы, когда в России всё было дефицитом, я ходил к некоему Мише, продавцу книг. Это был курчавый, неопределённого возраста мужчина, совмещавший в себе лучшие и худшие качества сынов Израиля. Наживаясь на знании, он вместе с тем обладал тонким вкусом, юмором, и я называл его «капиталистическим оазисом в социалистической пустыне». Кстати, именно у него я купил «Дхаммападу», «Шань Хай-цзин», «Пополь-Вух» и прочие редкие издания.

И вот однажды, роюсь в книжных завалах, я нечаянно надавил на постоянно запертую дверь. К моему удивлению, она в тот день закрытой не была, и глазам предстала кладовая, забитая антиквариатом. Иконы, вазы, статуэтки, вперемежку с самоварами и мебелью пылились до потолка, и до меня дошло, что Миша — миллионер. На миг вспыхнуло возмущение: и при этом торговаться из-за пятидесяти копеек? Но только на миг. Внимание привлекла картина, сразу обдавшая меня чем-то сладким

и щемящим. Дурман, разумеется, шёл не от холста — от девы, слегка прикрытой газовой накидкой. Более чем живая, дева манила меня, приглашая к полёту. И кто, что это? Забыв обо всём, я сделал ей шаг навстречу, протянул руки... и был пойман на месте преступления.

— Нравится?

Разбуженный точно ото сна, я начал оправдываться, ссылаясь на неосторожность, но Миша заговорил о другом:

— Это не масло и даже не вышивка. Непонятно и какой век, какая страна. Да и работа ли это людей?

Внезапно он расплылся в улыбке.

— А ты ей понравился.

— Кому?

— Женщине этой.

И тут я услышал рассказ, никак не вяжущийся с чисто прагматическим характером хозяина. Неясно как, но женщина оценивала глядящих на неё мужчин, и изображение потому менялось. Вот и сейчас она стала манящей, хотя час назад смотрела безразлично. Впрочем, это было не важно: картиной заинтересовался богатый немец, и уже названа цена. Цимес же был в том, что при этом немце дева вообще отворачивалась и начинала рыдать.

Я вновь посмотрел на тянущуюся ко мне деву и содрогнулся от жалости. Дохнуло «работоторговлей». И почему, почему я беден? Впрочем, богат Миша. И почему, почему он не благороден? Ведь в его власти подарить деве любовь, счастье...

Что говорить, больше к этому книготорговцу я не ходил.

ПОСЛЕДНЯЯ КАША

Самое-самое в моей жизни — это случай с женой. Подождите, сейчас успокоюсь, ведь после этого случая она умерла. Нет, не могу говорить, в другой раз... хотя... ладно, расскажу. Извините.

Не знаю как кто, а я последние тридцать лет просыпался от одних и тех же звуков. Не угадаете, не от будильника — от помешивания каши ложкой. Секрет простой: последние тридцать лет жена варила каждое утро овсяную кашу.

Так было и в то последнее утро — привычные звуки приглашали вставать, и, приподнявшись на локте, я рухнул снова. Я приподнялся во второй раз — жена тихо спала на своей кровати и никаким объяснением не пахло. Зато пахло кашей, бутербродами, и, в третий раз глянув на спящую жену, я на цыпочках вышел из спальни.

— А, проснулся... Сейчас завтракать будем. Чай или кофе?

Вместо ответа я тихо поманил жену в спальню и показал ей на неё спящую.

Испуг был неподдельным.

— Ой, кто это?

Молча, я и супруга смотрели на спящую женщину, и кроме как женой она быть никем не могла. Абсолютно одинаковые, бодрствующая и спящая, они находились в одной комнате, и ум отказывался принять виденное.

Мы снова тихо прошли на кухню, сели на табуретки. Кто готовил кашу? Кто там спит? — ответов у нас не было и близко.

И вот из спальни послышался стон, и вот из спальни позвали меня. Не знаю почему, но я на цыпочках подошёл к проснувшейся жене, и от её первых слов на меня дохнуло холодом.

— У меня совершенно нет сил, я какая-то пустая... Что со мной? — я заболела? Я не смогу тебе приготовить завтрак...

— Каша уже сварена, а бутерброды намазаны.

— Да, я чувствую запах, но ты же не умеешь готовить.

Я замер: эта проснувшаяся больная жена могла не вынести вида жены бодрствующей, и что же делать? Но бодрствующая сама пришла из кухни, и я их понимаю: страх и изумление были взаимны.

— Кто это?

— Кто это?

Я переводил взгляд с жены на жену и, если бы я сам хоть что-то понимал. Хотя почему-то становилось ясно, что истинная жена — в постели.

И это было правдой: бодрствующая внезапно исчезла, зато лежащая со стоном выговорила:

— Мне никогда так не было плохо. Я не могу пошевелить пальцем. Прости, я силилась встать, я силилась сварить кашу, я пыталась...

— Ты и сварила.

— Да, наверно, я и сварила... Вызови врача, мне не надо было вставать...

— Но ты и не вставала.

— Да, я и не вставала, мне только снилось, что готовлю завтрак. Всё, всё, я погибаю.

Это были её последние слова, не приходя в сознание, она скончалась. Подождите, сейчас успокоюсь... Нет, не могу говорить... Хотя вы уже поняли: каша была сварена уже отлетевшей душой.

СТАРАЯ ДОЧЬ МОЛОДОГО ОТЦА

Своего отца я увидела пенсионеркой — ему же на вид было 25–27 лет. Причиной тому было его загадочное паломничество, о котором я знаю лишь по тетради. Любопытнейшая тетрадь отца¹ ещё ждёт своего часа, здесь же я вкратце расскажу о главном.

Родители отца приехали в Россию на огонь революции, этот огонь и сжёг их в 1934 году. Оставшись сиротой в незнакомой стране, отец мой пустился в бега — пешком и на крышах поездов он обошёл и объехал весь СССР. Летом он жил в лесах и на болотах, зимой перебивался случайными заработками. Постепенно он пригрелся в нашей Одессе, но причиной был не климат, а одесские библиотеки. Читал он и в Москве, но именно в Одессе перешёл Рубикон и поверил древним знаниям больше,

¹ См. «Записки Рейнгартена» в конце этой книги.

чем современной науке. Обладая обстоятельным умом, отец мой хотел дойти во всём до корней, и вот канва его мыслей. Россия — из Европы, Европа — из Афин и Иерусалима, что из Египта и Шумера, но откуда они? Почему первоцари Египта — птицы, Шумера — рыбы, а Хуан-ди обладал драконьим ликом? Постепенно отец разобрался в небесных корнях человечества, и дело оставалось за практикой. «Помог» случай — сам Сталин прочитал его первую и единственную статью об ашрамах, и вот мой отец — глава экспедиции в Тибет. Но там он вождя ослушался: не эликсир бессмертия — поиск ещё не открытых градусов Божьих стал его целью, и кое-что он увидел. Как немец, как европеец, к святыням он допущен не был, но открытие, что могилы Богов целы и охраняемы, поважней находок Шлимана. Более того, склепы эти — главная достопримечательность Земли и, если нашу планету и посещают, то только ради них. Так писал мой отец, и опровергнуть или подтвердить его слова, я, увы, конечно, не могу.

Но главное отца и Лобсанга, его проводника, ждало впереди — вернувшись, они узнали, что прошло пятьдесят лет. Это был удар — заблудиться во времени оказалось страшней, чем заблудиться в пространстве. По крайней мере, увидев меня, свою дочь, старухой, отец просто выбежал из квартиры. Увы, найти отца я так и не смогла, но думаю, что в мире людей он стал чужим и ненужным. Сейчас они вместе с Лобсангом, скорее всего, опять в Тибете — прикоснувшись к Небу, жить среди смертных они не в состоянии.

Как видите, банальное горе от ума или, по-немецки, — фаустовщина. Кстати, в тетради отец так и называл себя: шварцкюнетлер — чернокнижник. Впрочем, ответить за отца, знает ли он, что променял человеческое счастье на небесную истину, я опять же не могу.

СОБАЧЬИ УШИ

Самое-самое в моей жизни, это как я мать покалечил, но по порядку.

Лет в шестнадцать влюбился я в одну Танюшу — и хоть кол на голове теши. Как вечер, спички в карман — и на поляну. Река, костёр, поцелуи с объятиями... Ну, а днём спать — ночь опять у костра миловаться. Мать в крик, отец за ремень, да разве любви сильнеесть есть что? И Танюшу дома били, к кровати привязывали — вперёд меня на поляну летела.

Ладно, иду я раз вечером к Танюшечке своей — собака навстречу. Лает, укусить норовит, чья только, не знаю. Ну, и надоела собачка, подмял я её и ножом — по ушам. Будешь знать, как лаять — поскули теперь. Убежала собака, и снова губки Танюши, тело молодое.

Ну, а утром в тумане к дому подхожу — у избы скорая стоит. Это почему, кто заболел? Мать в тряпках ведут — да что случилось?

— Мама, что с тобой?

— Сам знаешь.

Увезли её — и голова раскалывается. Что же я такое знаю, о чём понятия не имею? К отцу, к сестре — говорить не желают. Да что же я такого натворил? — а уже догадка зреет. Неужто... и точно, пошли по деревне разговоры. Оставил мать без ушей, она в собаку превращалась. Это только и отрезвило меня — сразу как-то Танюша отодвинулась. Хотя и не так: целую, а в глазах мать без ушей. И на следующий день, и через месяц — укор сплошной. Из-за того и из деревни уехать пришлось, и жениться на другой. А, в сущности, кому мы мешали? На черта мне этот город, институт, жена учёная? Ведь только и было у меня счастье — Танюшечка. С её образом и умирать буду: костёр, река в тумане... И губы её полные, груди тугие... Дала мне мать образование, карьеру сделала, а счастье убила.

А с Танюшей совсем беда: как я в город уехал, сохнуть начала. Дома затворилась, болеть стала, а в двадцать шесть руки на себя наложила. Эх, мать моя — уши человеческие, а сердце собачье...

ЛЕС

Леса у нас серьёзные, над собой посмеяться не дадут. Зато сами над людьми хорошо посмеиваются, много чудес вытворяют. Думаешь, направо идёшь — налево ведут, крики людей услышал — в топь зашёл. В такое болото вопрёшься — на лодке не выплывешь. Жалости лес не ведаёт, законы у него другие. Многих людей лес разжевал, от многих косточек не оставил. А которых не проглотил, а которых люди вытащили, чудными сделал. Будто видели они что-то, будто узнали, а сказать нельзя. Иной пить начинает, другой молчуном становится, а третий вернуться назад мечтает. Вот как Дуня наша.

Где её черти носили, где она месяц была? Ушла старушкой аккуратной, поймали — лосиха жилистая. На мотоциклах ловили — во, как бегать стала.

— Отпустите меня! Не хочу с вами.

Босая, без платка, без корзины — одни глаза горят. Народ узнаёт, а не хочет к людям. Будто птица вольная, будто зверь дикий.

— Отпустите! Мне в лесу хорошо! Нас там много!

— Кого? Где?

— Много таких, как я! Нам хорошо там было.

Ясное дело — чокнулась, а отчего? Ну, бродила среди деревьев, ну, пила воду из ручьёв. На гари, на топи смотрела, поляны цветочные. Сапожки потеряла, корзину — человеческое когда ушло? Когда лесной, дикой стала?

— Отпустите! Всё равно с вами жить не буду!

В сарае на цепь пришлось сажать, к скобе привязывать. Лицо печальное — что зверь в клетке.

— Дуня, кушать хочешь?

— Ваше — нет.

— А в избу?

— Мучайтесь сами.

— А телевизор смотреть?

— Тьфу!

— А чего хочешь?

— В лес опять.

— Чего же там хорошего?

Глаза горящие, взор вдаль куда-то:

— Там воля была, там родина моя.

— Твоя родина — деревня.

— Была да сплыла.

— Так, если отвязать, — убежишь?

— Запросто. Они ждут меня.

— Кто?

— Друзья мои, подружки.

— А зимой?

— Как они, так и я.

В клубочек на сене свернётся и лежит. Не ест, не пьёт — думу думает.

— Дуня, с голоду помрёшь.

— Ясное дело, оголодаю.